Макаренко А.С.

СОВЕТСКИЙ НОН-ФИКШН

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Антон Семенович Макаренко

Педагогическая поэма

Серия «Советский нон-фикшн»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73094298
Педагогическая поэма: Издательство АСТ; Москва; 2026
ISBN 978-5-17-178885-8

Аннотация

Антон Семёнович Макаренко – педагог-практик и писатель, чьё имя стало символом эффективного воспитания. Его система, основанная на принципах коллективного труда, уважения и ответственности, доказала свою действенность в работе с самыми сложными подростками. «Педагогическая поэма» – это главный труд Антона Семёновича, повествующий о создании и становлении колонии для несовершеннолетних правонарушителей. Это вдохновляющая история о том, как вера в человека, труд и дисциплина могут преобразить одинокие души. Произведение раскрывает всю глубину и сложность педагогического подхода автора, его сомнения, борьбу с бюрократией и триумф человеческого духа. Это не просто книга о воспитании, это гимн разуму, воле и доброте.

Книга будет полезна родителям, ищущим ответы на сложные вопросы воспитания, педагогам и психологам, желающим понять механизмы формирования коллектива и личности, студентам

гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется историей, психологией и просто верит в силу человеческой личности.

Содержание

Часть первая 10
1. Разговор с завгубнаробразом 10
2. Бесславное начало колонии имени Горького 14
3. Характеристика первичных потребностей 31
4. Операции внутреннего характера 45
5. Дела государственного значения 56
6. Завоевание железного бака 66
7. «Ни одна блоха не плоха» 75
8. Характер и культура 88
9. «Есть еще лыцари на Украине» 95
Конец ознакомительного фрагмента. 113

Антон Семенович Макаренко

Педагогическая поэма

© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Макаренко А.С.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Москва

СОВЕТСКИЙ
НОН-ФИКШН

С преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю Максиму Горькому

Часть первая

1. Разговор с завгубнаробразом

В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе и сказал:

– Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно… вот что твоей трудовой школе дали это самое… губсовнархоз…

– Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься – взвоешь: какая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это похоже на школу?

– Да… Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое и столы не такие. Нету у вас этого самого вот… огня, знаешь, такого – революционного. Штаны у вас навыпуск!

– У меня как раз не навыпуск.

– Ну у тебя не навыпуск… Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек – по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское… Ну?

– А что – «ну»?

– Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю – рука-

ми и ногами, зарежут, говорят. Вам бы это, кабинетик, книжечки… Очки вон надел…

Я рассмеялся:

– Смотрите, уже и очки помешали!

– Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, так вы, это самое, зарежет меня живой человек. Интеллигенты!

Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими черными глазами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию. Но ведь он был неправ, этот завгубнаробразом.

– Вот послушайте меня…

– Ну что «послушайте»? Ну что ты можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое… как в Америке! Я недавно по этому случаю книжонку прочитал – подсунули. Реформаторы… или как там, стой! Ага! Реформаториумы[1]. Ну так этого у нас еще нет.

– Нет, вы послушайте меня.

– Ну, слушаю.

– Ведь и до революции с этими босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников…

– Это не то, знаешь… До революции это не то.

– Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать.

---

[1] *Реформаторицумы* – учреждения для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в некоторых капстранах; детские тюрьмы.

– По-новому, это ты верно.

– А никто не знает – как.

– И ты не знаешь?

– И я не знаю.

– А вот у меня, это самое… есть такие в губнаробразе, которые знают…

– А за дело браться не хотят.

– Не хотят, сволочи, это ты верно.

– А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.

– Скажут, стервы, это ты верно.

– А вы им поверите, а не мне.

– Не поверю им, скажу: было б самим браться!

– Ну а если я и в самом деле напутаю?

Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу:

– Да что ты мне: напутаю, напутаю! Ну и напутаешь! Чего ты от меня хочешь? Что я, не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое… не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание… Нам нужен такой человек, вот… наш человек! Ты его сделай. Все равно всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо.

– А место есть? Здания все-таки нужны.

– Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко – верст шесть. Хорошо

там: лес, поле, коров разведешь…

– А люди?

– А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомобиль дать?

– Деньги?..

– Деньги есть. Вот получи.

Он из ящика стола достал пачку.

– Сто пятьдесят миллионов. Это тебе на всякую организацию, ремонт там, мебелишка какая нужна…

– И на коров?

– С коровами подождешь, там стекол нет. А на год смету составишь.

– Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше.

– Я уже смотрел… что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай – и все.

– Ну добре, – сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для меня не было.

– Вот это молодец! – сказал завгубнаробразом. – Действуй! Дело святое!

2. Бесславное начало колонии имени Горького

В шести километрах от Полтавы, на песчаных холмах – гектаров двести соснового леса, а по краю леса – большак на Харьков, скучно поблескивающий чистеньким булыжником.

В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонарушителей.

Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенные крыши. Вот и все.

До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневниках, главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные унтер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом воспитанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью. Внеш-

ним ее выражением был такой простой снаряд, как палка.

Материальные следы старой колонии были еще незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые каморами и клунями, все то, что могло быть выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не высажены гневным топором, а по-хозяйски сняты с петель, печи разобраны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на месте.

– Почему шкаф остался? – спросил я соседа, Луку Семеновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев.

– Так что, значится, можно сказать, что шкафчик етой нашим людям без надобности. Разобрать его – сами ж видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет – и по высокости, и поперек себя тоже…

В сараях по углам было свалено много всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось возвратить кое-какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, еле на ногах державшихся, конь – мерин, когда-то бывший киргизом, – в возрасте тридцати лет и мед-

ный колокол.

В колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом:

– Вы будете заведующий педагогической частью?

Скоро я установил, что Калина Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно.

– Вы будете заведующий педакокической частью?

– Почему? Я заведующий колонией…

– Нет, – сказал он, вынув изо рта трубку, – вы будете заведующий педакокической частью, а я – заведующий хозяйственной частью.

Представьте себе врубелевского «Пана», совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по-архиерейски. В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвардии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведовал эвакуаци-

ей города Миргорода во время наступления немцев.

Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого разговора:

– Как же так, товарищ Сердюк, не может быть без заведующего колония? Кто-нибудь должен отвечать за все.

Калина Иванович снова вынул трубку и вежливо склонился к моему лицу:

– Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам, в некотором роде, подчинялся?

– Нет, это не обязательно. Давайте я вам буду подчиняться.

– Я педакокике не обучался, что не мое, то не мое. Вы еще молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией – так, знаете, для этого ж я еще малограмотный, да и зачем это мне?..

Калина Иванович неблагосклонно отошел от меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали.

– Я вам здесь поставив столик и кроватку, какие нашлись…

– Спасибо.

– Я думав-думав, как нам быть с этой самой колонией. И решив, что вам, конешно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы подчиняться.

– Помиримся, Калина Иванович.

– Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки лепят, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек грамотный, будете как бы заведующим.

Мы приступили к работе. При помощи «дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно предоставленной нам соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период.

Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача – концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ, а я никак не мог помириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз.

В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов кое-как привести в порядок одну из ка-

зарм бывшей колонии: вставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло «сконцентрировать».

Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объявить организационный период законченным. Калина Иванович согласился с моей точкой зрения:

– Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делают? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромець…

– Илья Муромец?

– Ну да. Был такой – Илья Муромець… может, ты чув… так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил.

– Ну что же, будем, как Илья Муромец, это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник?

– Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь…

Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния: никто не хо-

тел посвятить себя воспитанию нового человека в нашем лесу – все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлись два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил.

Лидия Петровна была очень молода – девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение:

– Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает.

– Да именно такую и искал. Видите ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка – чистейшее существо, я рассчитываю на нее, вроде как на прививку.

– Не слишком ли хитришь? Ну хорошо…

Зато Екатерина Григорьевна была матерый педагогический волк. Она ненамного раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к ее плечу, как ребенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьезном красивом лице прямились почти мужские черные брови. Она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею:

– С такой женщиной нужно очень осторожно поступать…

Итак, все было готово.

Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцати лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец.

Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зеленого бархата.

Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались, с ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки – «дачки», покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашеные двери и окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал

кому-то из товарищей:

– Через тебя влипли в эту бузу!

Остаток дня мы посвятили планированию дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения – только бы скорее от меня отделаться.

А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала:

– Я не знаю, как с ними разговаривать… Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой – с прической, надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги!»

В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному соцвосовскому выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершенное ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех спрашивать:

– Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил?..

Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови:

– Не знаю, Антон Семенович, серьезно, не знаю… Может быть, нужно просто уехать… Я не знаю, какой тон здесь возможен…

Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, – все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.

Длинными зимними вечерами в колонии было жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна – в спальне, другая – в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы» – изобретение времен Кия, Щека и Хорива. В моей лампочке верхняя часть стекла была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович, закуривая свою трубку, пользовался часто огнем моей лампы, просовывал для этого в стекло половину газеты.

В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал:

– Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападет. Понимаете?

Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о моем существовании.

Задоров был из интеллигентной семьи – это было видно сразу. Он правильно говорил, лицо его отличалось той мо-

лодой холеностью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза – все это с особенной мясистой подвижностью – лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в такой позе:

– Ну сказали ж вам…

Я вышел из спальни, обратив своей гнев в какой-то тяжелый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашел к Калине Ивановичу:

– Пойдем снег чистить.

– Что ты! Что ж, я сюда черноробом наймался? А эти что? – кивнул он на спальни. – Соловьи-разбойники?

– Не хотят.

– Ах, паразиты! Ну, пойдем!

Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город.

– Вот хорошо! – сказал весело Таранец.

– Давно бы так, – поддержал Волохов.

Калина Иванович загородил им дорогу:

– То есть как это – «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой…

Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгнове-

ние его лопата полетела далеко в сугроб, трубка – в другую сторону, и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули:

– Придется самому за лопатой полазить!

Со смехом они ушли в город.

– Уеду отседова к черту! Чтоб я тут работал! – сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в сугробе.

Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали:

– Рятуйте!..

Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими голосами просили помощи.

Я выпросил у завгубнаробразом наган для защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я еще не терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками.

Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчания и бессильного напряжения – они были еще и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года.

Это было время Врангеля и польской войны. Врангель где-то близко, возле Новомиргорода; совсем недалеко от нас, в Черкассах, воевали поляки, по всей Украине бродили бать-

ки, вокруг нас многие находились в блакитно-желтом очаровании. Но мы в нашем лесу, подперев голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали педагогические книги.

У меня главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я все равно не мог привязать к делу, а немедленный анализ и немедленное действие[2].

Всем своим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония все больше и больше принимала характер «малины» – воровского притона, в отношениях воспитанников к воспитателям все больше определялся тон постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра:

– Всегда, знаете, может пригодиться… в трудную минуту.

[2] В «Педагогической поэме» 1934 г., с. 23, дальше следует: «Нас властно обступил хаос мелочей, целое море элементарнейших требований здравого смысла, из которых каждое способно было вдребезги разбить всю нашу мудрую педагогическую науку».

Они решительно отказывались пойти нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом:

– На наш век хватит!

Калина Иванович рассыпал миллионы искр из своей трубки и разводил руками:

– Что ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие алегантские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов…

И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ:

– Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на «ты».

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

– Простите, Антон Семенович…

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

– Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором находились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес – не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер.

Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал:

– Что такое? Скажите на милость, чего это они такие добрые?

Я рассеянно глянул в голубые очи Пана и сказал:

– Скверное, брат, дело… Первый раз в жизни ударил человека.

– Ох ты ж лышенько! – ахнул Калина Иванович. – А если они жаловаться будут?

– Ну это еще не беда…

К моему удивлению, все прошло прекрасно. Я поработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в общем хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали свое дело.

В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом:

– А здорово! Ха-ха-ха-ха!..

Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:

– Что – здорово? Работа?

– Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили!

Задоров был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть такого богатыря.

Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву:

– История, ха-ха-ха!..

Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками, но утренние события не вспоминали. Я себя чувствовал все же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, но Задоров подошел ко мне

с самой серьезной рожей:

– Мы не такие плохие, Антон Семенович! Будет все хорошо. Мы понимаем.

3. Характеристика первичных потребностей

На другой день я сказал воспитанникам:

– В спальне должно быть чисто! У вас должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается – не приму.

– Ого! – сказал Волохов. – А может быть, можно полегче?

– Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет.

Задоров протянул мне руку:

– По рукам – правильно! Ты, Волохов, молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно, не в допр (дом предварительного заключения) же идти.

– А что, и в школу ходить обязательно? – спросил Волохов.

– Обязательно.

– А если я не хочу учиться?.. На что мне?..

– В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться – умнеть.

Волохов шутливо завертел головой и сказал, повторяя слова какого-то украинского анекдота:

– От ускочыв так ускочыв!

В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую законность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал:

– Не выводи меня из себя. Убери!

– А то что? Морду набьете? Права не имеете!..

Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершенно искренне:

– Слушай! Последний раз предупреждаю: не морду набью, а изувечу! А потом ты на меня жалуйся, сяду в допр, это не твое дело!

Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами:

– Из-за такого пустяка в допр нечего садиться. Уберу, черт с вами!

Я на него загремел:

– Как ты разговариваешь?

– Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к..!

– Что? Выругайся…

Он вдруг засмеялся и махнул рукой:

– Вот человек, смотри ты… Уберу, уберу, не кричите!

Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала:

– Так вы уже нашли метод? Как в бурсе[3], да?

– Отстаньте, Лидочка!

– Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам?

– Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немного.

– Ну хорошо, подожду.

Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально-приветливо. Только дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьезно:

– Ну как вы себя чувствуете?

---

[3] Бурса – общежитие при духовных семинариях и училищах, синоним сурового режима и грубых нравов с применением телесных наказаний (Помяловский Н.Г. Очерки бурсы. М., 1951.).

– Все равно. Прекрасно себя чувствую.

– А вы знаете, что в этой истории самое печальное?

– Самое печальное?

– Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к рабству?

Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне:

– Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боятся и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий надрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию, мог причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них, все-таки они люди. Это важное обстоятельство.

– Может быть, – задумалась Екатерина Григорьевна.

Но задумываться нам было некогда. Через неделю, в феврале 1921-го, я привез на мебельной линейке полтора десятка настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть,

кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было.

Прибавилось в колонии и воспитателей. К марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чета из Ивана Ивановича и Натальи Марковны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собою значительное имущество: диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как разгружались возы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых.

Интерес колонистов к имуществу Осиповых был далеко не академическим интересом, и я очень боялся, что все это великолепное переселение может получить обратное движение к городским базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка очень добрая, разговорчивая и глупая. Ее имущество хотя и уступало осиповскому, но состояло из очень аппетитных вещей. Было там много муки, банок с вареньем и еще с чем-то, много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались глазами наших воспитанников разные ценные вещи.

Экономка с большим старушечьим вкусом и уютом рас-

положилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой назначенным для такого дела, и как-то очень быстро сдружилась с двумя-тремя ребятами. Сдружились они на договорных началах: они доставляли ей дрова и ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать экономке в колонии было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего ее назначили.

В колонии не нужно было никакой экономки. Мы были невероятно бедны. Кроме нескольких квартир, в которых поселился персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну большую спальню с двумя унтермарковскими печами. В этой комнате стояло тридцать «дачек» и три больших стола, на которых ребята обедали и писали. Другая большая спальня и столовая, две классные комнаты и канцелярия ожидали ремонта в будущем. Постельного белья у нас было полторы смены, всякого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно в разных просьбах, обращенных к наробразу и к другим учреждениям.

Завгубнаробразом, так решительно открывший колонию, уехал куда-то на новую работу, его преемник колонией мало интересовался – были у него дела поважнее.

Атмосфера в наробразе меньше всего соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз пред-

ставлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих людей, но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то туалетные, то ломберные, когда-то черные, когда-то красные, окруженные такими же стульями, эти столики изображали различные секции, о чем свидетельствовали надписи, развешанные на стенках против каждого столика. Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная величина – человек – оказывался в существе своем не столько заведующим секцией, сколько счетоводом в губраспреде. Если за каким-нибудь столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае заключалась в выяснении того, какая это секция и в эту ли секцию должен обратиться посетитель или нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно; а если все-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за тем вон столиком в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью исчезал.

Наши неопытные шаги вокруг столиков не привели, конечно, ни к каким положительным результатам. Поэтому зимой двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование

«клифт», кое-как прикрывали человеческую кожу; очень редко под клифтами оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы: колка дров, работа на кухне, в прачечной делали свое, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в «Русалке».

На ногах у очень немногих колонистов были ботинки, большинство же обвертывало ноги портянками и завязывало веревками. Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы.

Пища наша называлась кондёром. Другая пища бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания: были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов – и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондёра и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере. Через месяц-другой нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию

тайной и явной дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчености и конфеты, но тем печальнее становилось наше житье, когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально.

Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например в губпродком, или в опродкомарм Первой запасной, или в отдел снабжения какого-нибудь подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную партизанщину, и вылазки нужно было делать втайне.

Для вылазки необходимо было вооружиться бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение:

«Колония малолетних преступников просит отпустить для питания воспитанников сто пудов муки».

В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного ведомства.

Со своей бумажкой я помещался где-нибудь в коридоре соответствующего ведомства, у дверей кабинета. В двери эти входило множество людей. Иногда в кабинет набива-

лось столько народу, что туда уже мог заходить всякий желающий. Через головы посетителей нужно было пробиться к начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку.

Начальство в продовольственных ведомствах очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что «малолетние преступники» имеют отношение к просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние преступники» была довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство взирало на нас строго и говорило:

– Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой наробраз.

Чаще бывало так – начальство задумывалось и произносило:

– Кто вас снабжает? Тюремное ведомство?

– Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не снабжает, потому что это же дети…

– А кто же вас снабжает?

– До сих пор, видите ли, не выяснено…

– Как это – «не выяснено»?.. Странно!

Начальство что-то записывало в блокнот и предлагало прийти через неделю.

– В таком случае дайте пока хоть двадцать пудов.

– Двадцать я не дам, получите пока пять пудов, а я потом выясню.

Пяти пудов было мало, да и завязавшийся разговор не со-

ответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких выяснений, само собой, не ожидалось.

Единственно приемлемым для колонии имени М. Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чем не расспрашивало, а молча брало нашу бумажку и чертило в углу: «Выдать».

В этом случае я сломя голову летел в колонию:

– Калина Иванович!.. Ордер!.. Сто пудов! Скорее ищи дядьков и вези, а то разберутся там…

Калина Иванович радостно склонялся над бумажкой:

– Сто пудов? Скажи ж ты! А откедова ж такое?

– Разве не видишь? Губпродком отдела…

– Кто их разберет!.. Та нам все равно: хоть черт, хоть бис, абы яйца нис, хе-хе-хе!..

Первичная потребность у человека – пища. Поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положение с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита колонистам удавалось удовлетворять при помощи частных способов.

Одним из основных видов частной пищевой промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым легким способом было опустошение ятерей[4], которые на недалекой речке и на нашем озере устанавливались

[4] Сеть, имеющая форму четырехгранной пирамиды.

местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих ятерей, но нашелся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило.

Это был Таранец. Ему было шестнадцать лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать коллективные интересы. Он украл на реке несколько ятерей и притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хозяева ятерей, и дело окончилось большим скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятеря, и нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать. Но через некоторое время у Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные ятеря, которые им были подарены «одним знакомым в городе». При помощи этих собственных ятерей рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг и меня.

Он принес в мою комнату тарелку жареной рыбы.

– Это вам рыба.

– Вижу, только я не возьму.

– Почему?

– Потому что неправильно. Рыбу нужно давать всем колонистам.

– С какой стати? – покраснел Таранец от обиды. – С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну на речке, а давать всем?

– Ну и забирай свою рыбу: я ничего не доставал и не мок.

– Так это мы вам в подарок…

– Нет, я не согласен, мне все это не нравится. И неправильно.

– В чем же тут неправильность?

– А в том: ятерей ведь ты не купил. Ятеря подарены?

– Подарены.

– Кому? Тебе? Или всей колонии?

– Почему – «всей колонии»? Мне…

– А я так думаю, что и мне, и всем. А сковородки чьи? Твои? Общие. А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки – чье масло? Общее. А дрова, а печь, а ведра? Ну, что ты скажешь? А я вот отберу у тебя ятеря, и кончено будет дело. А самое главное – не по-товарищески. Мало ли что – твои ятеря! А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут.

– Ну хорошо, – сказал Таранец, – хай будет так. А рыбу вы все-таки возьмите.

Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню.

Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша – киргиза – и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались два-три коло-

ниста, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу, подержать Малыша. Все эти счастливцы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищам привозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тетка дала», «встретился со знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок.

В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.

4. Операции внутреннего характера

В феврале у меня из ящика пропала целая пачка денег – приблизительно мое шестимесячное жалованье.

В моей комнате в то время помещались и канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, ибо я соединял в своем лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без всяких следов взлома.

Вечером я рассказал об этом ребятам и просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно было обвинить в растрате. После собрания, когда я проходил в свой флигель, на темном дворе ко мне подошли двое: Таранец и Гуд. Гуд – маленький, юркий юноша.

– Мы знаем, кто взял деньги, – прошептал Таранец, – только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где спрятаны. А если объявим, он подорвет[5] и деньги унесет.

– Кто взял?

– Да тут один…

Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо, не вполне одобряя его политику. Он пробурчал:

– Бубну ему нужно выбить… Чего мы здесь разговариваем?

– А кто выбьет? – обернулся к нему Таранец. – Ты выбьешь? Он тебя так возьмет в работу…

[5] Убежит.

– Вы мне скажите, кто взял деньги. Я с ним поговорю, – предложил я.

– Нет, так нельзя.

Таранец настаивал на конспирации. Я пожал плечами:

– Ну как хотите.

Ушел спать.

Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд, дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обеих руках у него были скомканные в беспорядке кредитки.

Гуд от радости танцевал по колонии, все ребята просияли и прибегали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их действиях после нашего разговора.

Через два дня кто-то сбил замок в погребе и утащил несколько фунтов сала – все наше жировое богатство. Утащил и замок. Еще через день вырвали окно в кладовой – пропали конфеты, заготовленные к празднику Февральской революции, и несколько банок колесной мази, которой мы дорожили, как валютой.

Калина Иванович даже похудел за эти дни; он устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза махоркой и уговаривал:

– Вы ж только посудите! Все ж для вас, сукины сыны, у себя ж крадете, паразиты!

Таранец знал больше всех, но держался уклончиво, в его

расчеты почему-то не входило раскрывать это дело. Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что обокрадены именно они.

В спальне я гневно кричал:

– Вы кто такие? Вы люди или…

– Мы урки, – послышалось с какой-то дальней «дачки».

– Уркаганы!

– Врете! Какие вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки, у себя крадете. Вот теперь сидите без сала, ну и черт с вами! На праздниках – без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так!

– Так что мы можем сделать, Антон Семенович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не знаем.

Я, впрочем, с самого начала понимал, что мои разговоры лишние. Крал кто-то из старших, которых все боялись.

На другой день я с двумя ребятами поехал хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в колонию и водворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено.

Я даже обрадовался этому обстоятельству. Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех с большим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все ребята опечалились, но во-

одушевления никакого не было, а когда прошло первое впечатление, всех вновь обуял спортивный интерес: кто это так ловко орудует?

Еще через несколько дней из конюшни пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по хутору, просить на первое время.

Кражи происходили уже ежедневно. Утром обнаруживалось, что в том или ином месте чего-то не хватает: топора, пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше двух-трех ночей, конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так перепугался, что я больше об этом с ним не говорил.

Из ребят я подозревал многих, в том числе и Гуда, и Таранца. Никаких доказательств у меня все же не было, и свои подозрения я принужден был держать в секрете.

Задоров раскатисто смеялся и шутил:

– А вы думали как, Антон Семенович, трудовая колония, трудись и трудись – и никакого удовольствия? Подождите, еще не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете?

– Посажу в тюрьму.

– Ну это еще ничего. Я думал, бить будете.

Как-то ночью он вышел во двор одетый.

– Похожу с вами.

– Смотри, как бы воры на тебя не взъелись.

– Нет, они же знают, что вы сегодня сторожите, все равно

сегодня не пойдут красть. Так что же тут такого?

– А ведь признайся, Задоров, что ты их боишься?

– Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так не в том дело, что боюсь, а ведь согласитесь, Антон Семенович, как-то не годится выдавать.

– Так ведь вас же обкрадывают.

– Ну чего ж там меня? Ничего тут моего нет.

– Да ведь вы здесь живете.

– Какая там жизнь, Антон Семенович! Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьетесь. Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших сторожей и дайте им винтовки.

– Нет, сторожей не найму и винтовок не дам.

– А почему? – поразился Задоров.

– Сторожам нужно платить, мы и так бедны, а самое главное, вы должны быть хозяевами.

Мысль о том, что нужно нанять сторожей, высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая дискуссия.

Антон Братченко, лучший представитель второй партии колонистов, доказывал:

– Когда сторож стоит, никто красть и не пойдет, а если и пойдет, можно ему в это самое место заряд соли всыпать. Как походит посоленный с месяц, больше не полезет.

Ему возражал Костя Ветковский, красивый мальчик, специальностью которого «на воле» было производить обыски

по подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли, главные принадлежали взрослым. Сам Костя – это было установлено в его деле – никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной операции. Он всегда с презрением относился к ворам. Я давно отметил сложную и тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что он легко уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах политических.

Костя доказывал:

– Антон Семенович прав. Нельзя сторожей! Сейчас мы еще не понимаем, а скоро поймем все, что в колонии красть нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнем сторожить. Правда, Бурун? – неожиданно он обратился к Буруну.

– А что ж, сторожить так сторожить, – сказал Бурун.

В феврале наша экономка прекратила свое служение колонии, я добился ее перевода в какую-то больницу. В один из воскресных дней к ее крыльцу подали Малыша, и все ее приятели и участники философских чаев деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего богатства, со скоростью все тех же двух километров в час выехала навстречу новой жизни.

Малыш возвратился поздно, но возвратилась с ним и старушка и с рыданиями и криками ввалилась в мою комна-

ту: она была начисто ограблена. Приятели и ее помощники не все сундучки, саквояжики и мешочки сносили на сани, а сносили и в другие места – грабеж был наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, просто под кроватями и за шкафами были найдены все сокровища экономки. Старушка и в самом деле была богата: мы нашли около дюжины новых скатертей, много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие-то вазочки, браслет, серьги и еще много всякой мелочи.

Старушка плакала в моей комнате, а комната постепенно наполнялась арестованными – ее бывшими приятелями и сочувствующими.

Ребята сначала запирались, но я на них прикрикнул, и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными грабителями. Они ограничились кое-какими сувенирами вроде чайной салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всем этом происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих, и прежде всего меня. Бурун с самого первого дня казался солиднее всех, он был всегда серьезен, сдержанно-приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что

все прежние кражи в колонии – дело его рук.

Наконец-то дорвался до настоящего зла! Я привел Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии.

В спальне, на кроватях и на столах, расположились оборванные черные судьи. Пятилинейная лампочка освещала взволнованные лица колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного, неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Мак-Кинли, президента Соединенных Штатов Америки.

В негодующих и сильных тонах я описал ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она просила помощи, – это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их последнюю тряпку.

Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились дружно и страстно. Маленький вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну:

– А что? А что ты скажешь? Тебя нужно посадить за решетку, в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и деньги взял у Антона Семеновича.

Бурун вдруг запротестовал:

– Деньги у Антона Семеновича? А ну, докажи!

– И докажу.

– Докажи!

– А что, не взял? Не ты?

– А что, я?

– Конечно, ты.

– Я взял деньги у Антона Семеновича! А кто это докажет?

Раздался сзади голос Таранца:

– Я докажу.

Бурун опешил. Повернулся в сторону Таранца, что-то хотел сказать, потом махнул рукой:

– Ну что же, пускай и я. Так я же отдал?

Ребята на это ответили неожиданным смехом. Им понравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он вышел вперед:

– Только выгонять его не надо. Мало чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько – это действительно следует.

Все примолкли. Бурун медленно повел взглядом по рябому лицу Таранца.

– Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешься? Все равно завколом (заведующим колонией) не будешь. Антон набьет морду, если нужно, а тебе какое дело?

Ветковский сорвался с места:

– Как – «какое дело»? Хлопцы, наше это дело или не наше?

– Наше! – закричали хлопцы. – Мы тебе сами морду набьем получше Антона!

Кто-то уже бросился к Буруну. Братченко размахивал кулаками у самой физиономии Буруна и вопил:

– Пороть тебя нужно, пороть!

Задоров шепнул мне на ухо:

– Возьмите его куда-нибудь, а то бить будут.

Я оттащил Братченко от Буруна. Задоров отшвырнул двух-трех. Насилу прекратили шум.

– Пусть говорит Бурун! Пускай скажет! – крикнул Братченко.

Бурун опустил голову:

– Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня с Антоном Семеновичем – пусть накажет как знает.

Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краев. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну.

Через темный двор в снежных окопах мы прошли молча: я – впереди, он – за мной.

У меня на душе было отвратительно. Бурун казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке, значительная часть членов которой – совершеннолетние – была расстреляна. Ему было семнадцать лет.

Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем-нибудь тяжелым и на этом покончить беседу.

Наконец Бурун поднял голову, пристально глянул в мои глаза и сказал медленно, подчеркивая каждое слово, еле-еле сдерживая рыдания:

– Я… больше… никогда… красть не буду.

– Врешь! Ты это уже обещал комиссии.

– То комиссии, а то – вам! Накажите, как хотите, только не выгоняйте из колонии.

– А что для тебя в колонии интересно?

– Мне здесь нравится. Здесь занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что всегда жрать хочется.

– Ну хорошо. Отсидишь три дня под замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать!

– Хорошо.

Трое суток отсидел Бурун в маленькой комнатке возле спальни, в той самой, в которой в старой колонии жили дядьки. Запирать его я не стал, дал он честное слово, что без моего разрешения выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, на второй день стало жалко, принесли ему обед. Бурун попробовал гордо отказаться, но я заорал на него:

– Какого черта, ломаться еще будешь!

Он улыбнулся, передернул плечами и взялся за ложку.

Бурун сдержал слово: он никогда потом ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте.

5. Дела государственного значения

В то время когда наши колонисты почти безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые к нему относились сугубо внимательно.

Главные из этих сил располагались на большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда на этой дороге кто-нибудь не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза, грабители без лишних разговоров запускали свободные от обрезов руки за пазухи жен, сидящих на возах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали кнутовищами по холявам и удивлялись:

– Кто ж его знал? Прятали гроши в самое верное место, жинкам за пазуху, а они – смотри! – за пазуху и полезли.

Такое, так сказать, коллективное ограбление почти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опомнившись и простоявши на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и выразительно описывали нам происшествие. Я собирал свою армию, вооружал ее дрекольем, сам брал револьвер, мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали по лесу. Но только один раз наши поиски увенчались успехом: в полуверсте от дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались, но одного из них все-таки удалось схватить и привести в колонию. У

него не нашлось ни обреза, ни награбленного, и он отрицал все на свете. Переданный нами в губрозыск, он оказался, однако, известным бандитом, и вслед за ним была арестована вся шайка. От имени губисполкома колонии имени Горького была выражена благодарность.

Но и после этого грабежи на большой дороге не уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить уже следы «мокрых» ночных событий. Между соснами в снегу вдруг видим торчащую руку. Откапываем и находим женщину, убитую выстрелом в лицо. В другом месте, возле самой дороги, в кустах, – мужчина в извозчичьем армяке с разбитым черепом. В одно прекрасное утро просыпаемся и видим: с опушки леса на нас смотрят двое повешенных. Пока прибыл следователь, они двое суток висели и глядели на колонистскую жизнь вытаращенными глазами.

Колонисты ко всем этим явлениям относились без всякого страха и с искренним интересом. Весной, когда стаял снег, они разыскивали в лесу обглоданные лисицами черепа, надевали их на палки и приносили в колонию со специальной целью попугать Лидию Петровну. Воспитатели и без того жили в страхе и ночью дрожали, ожидая, что вот-вот в колонию ворвется грабительская шайка и начнется резня. Особенно перепуганы были Осиповы, у которых, по общему мнению, было что грабить.

В конце февраля наша подвода, ползущая с обычной скоростью из города с кое-каким добром, была остановлена ве-

чером возле самого поворота в колонию. На подводе были крупа и сахарный песок – вещи, почему-то грабителей не соблазнившие. У Калины Ивановича, кроме трубки, не нашлось никаких ценностей. Это обстоятельство вызвало у грабителей справедливый гнев: они треснули Калину Ивановича по голове, он свалился в снег и пролежал в нем, пока грабители не скрылись. Гуд, все время состоявший у нас при Малыше, был простым свидетелем. Приехав в колонию, и Калина Иванович, и Гуд разразились длинными рассказами. Калина Иванович описывал события в красках драматических, Гуд – в красках комических. Но постановление было вынесено единодушное: всегда высылать навстречу нашей подводе отряд колонистов.

Мы так и делали в течение двух лет. Эти походы на дорогу назывались у нас по-военному: «Занять дорогу».

Отправлялись человек десять. Иногда и я входил в состав отряда, так как у меня был наган. Я не мог его доверить всякому колонисту, а без револьвера наш отряд казался слабым. Только Задоров получал от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его поверх своих лохмотьев.

Дежурство по большой дороге было очень интересным занятием. Мы располагались на протяжении полутора километров по всей дороге, начиная от моста через речку до самого поворота в колонию. Хлопцы мерзли и подпрыгивали на снегу, перекликались, чтобы не потерять связи друг с другом, и в наступивших сумерках пророчили верную

смерть воображению запоздавшего путника. Возвращавшиеся из города селяне колотили лошадей и молча проскакивали мимо ритмически повторяющихся фигур самого уголовного вида. Управляющие совхозами и власти пролетали на громыхающих тачанках и демонстративно показывали колонистам двустволки и обрезы, пешеходы останавливались у самого моста и ожидали новых путников.

При мне колонисты никогда не хулиганили и не пугали путешественников, но без меня допускали шалости, и Задоров скоро даже отказался от револьвера и потребовал, чтоб я бывал на дороге обязательно. Я стал выходить при каждой командировке отряда, но револьвер отдавал все же Задорову, чтобы не лишить его заслуженного наслаждения.

Когда показывался наш Малыш, мы его встречали криком:

– Стой! Руки вверх!

Но Калина Иванович только улыбался и с особенной энергией начинал раскуривать свою трубку. Раскуривания трубки хватало ему до самой колонии, потому что в этом случае применялась известная формула:

– Сим вэрст крэсав, не вчувсь, як и выкрэсав.

Наш отряд постепенно сворачивался за Малышом и веселой толпой вступал в колонию, расспрашивая Калину Ивановича о разных продовольственных новостях.

Этой же зимою мы приступили и к другим операциям, уже не колонистского, а общегосударственного значения. В ко-

лонию приехал лесничий и просил наблюдать за лесом: порубщиков много, он со своим штатом не управляется.

Охрана государственного леса очень подняла нас в собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу и, наконец, приносила значительные выгоды.

Ночь. Скоро утро, но еще совершенно темно. Я просыпаюсь от стука в окно. Смотрю: на оконном стекле туманятся сквозь ледяные узоры приплюснутый нос и взлохмаченная голова.

– В чем дело?

– Антон Семенович, в лесу рубят!

Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру револьвер и двустволку и выхожу. Меня ожидают у крыльца особенные любители ночных похождений – Бурун и Шелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо безгрешное.

Бурун забирает у меня из рук двустволку, и мы входим в лес.

– Где?

– А вот послушайте…

Останавливаемся. Сначала я ничего не слышу, потом начинаю различать еле заметное среди неуловимых ночных звуков и звуков нашего дыхания глухое биение рубки. Двигаемся вперед, наклоняемся, ветки молодых сосен царапают наши лица, сдергивают с моего носа очки и обсыпают нас снегом. Иногда стуки топора вдруг прерываются, мы теряем направление и терпеливо ждем. Вот они опять ожили, уже

громче и ближе.

Нужно подойти совершенно незаметно, чтобы не спугнуть вора. Бурун по-медвежьи ловко переваливается, за ним семенит крошечный Шелапутин, кутаясь в свой клифт. Заключаю шествие я.

Наконец мы у цели. Притаились за сосновым стволом. Высокое стройное дерево вздрагивает, у его основания – подпоясанная фигура. Ударит несмело и неспоро несколько раз, выпрямится, оглянется и снова рубит. Мы от нее шагах в пяти. Бурун наготове держит двустволку дулом вверх, смотрит на меня и не дышит. Шелапутин притаился со мной и шепчет, повисая на моем плече:

– Можно? Уже можно?

Я киваю головой. Шелапутин дергает Буруна за рукав.

Выстрел гремит, как страшный взрыв, и далеко раскатывается по лесу.

Человек с топором рефлективно присел. Молчание. Мы подходим к нему. Шелапутин знает свои обязанности, топор уже в его руках. Бурун весело приветствует:

– А-а, Мусий Карпович, доброго ранку!

Он треплет Мусия Карповича по плечу, но Мусий Карпович не в состоянии выговорить ответное приветствие. Он дрожит мелкой дрожью и для чего-то стряхивает снег с левого рукава.

Я спрашиваю:

– Конь далеко?

Мусий Карпович по-прежнему молчит, отвечает за него Бурун:

– Да вон же и конь!.. Эй, кто там! Заворачивай!

Только теперь я различаю в сосновом переплете лошадиную морду и дугу.

Бурун берет Мусия Карповича под руку:

– Пожалуйте, Мусий Карпович, в карету скорой помощи.

Мусий Карпович наконец начинает подавать признаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по волосам и шепчет, ни на кого не глядя:

– Ох ты ж боже мой!..

Мы направляемся к саням.

Так называемые «рижнати» – сани – медленно разворачиваются, и мы двигаемся по еле заметному глубокому и рыхлому следу. На коняку чмокает и печально шевелит вожжами хлопец лет четырнадцати в огромной шапке и сапогах. Он все время сморгает носом и вообще расстроен. Молчим.

При выезде на опушку леса Бурун берет вожжи из рук хлопца:

– Э, цэ вы не туды поихалы. Цэ, як бы с грузом, так туды, а коли з батьком, так ось куды…

– На колонию? – спрашивает хлопец, но Бурун уже не отдает ему вожжей, а сам поворачивает коня на нашу дорогу.

Начинает светать.

Мусий Карпович вдруг через руку Буруна останавливает лошадь и снимает другой рукой шапку:

– Антон Семенович, отпустите! Первый раз… Дров нэма… Отпустите!

Бурун недовольно стряхивает его руку с вожжей, но коня не погоняет, ждет, что я скажу.

– Э нет, Мусий Карпович, – говорю я, – так не годится. Протокол нужно составить: дело, сами знаете, государственное.

– И не в первый раз вовсе, – серебряным альтом встречает рассвет Шелапутин. – Не первый раз, а третий: один раз ваш Василь поймался, а другой…

Бурун перебивает музыку серебряного альта хриплым баритоном:

– Чего тут будем стоять? А ты, Андрию, лети домой, твое дело маленькое. Скажешь матери, что батько засыпался. Пускай передачу готовит.

Андрей в испуге сваливается с саней и летит к хутору. Мы трогаем дальше. При въезде в колонию нас встречает группа хлопцев.

– О! А мы думали, что вас там поубивали, хотели на выручку.

Бурун смеется:

– Операция прошла с головокружительным успехом.

В моей комнате собирается толпа. Мусий Карпович, подавленный, сидит на стуле против меня, Бурун – на окне, с ружьем, Шелапутин шепотом рассказывает товарищам жуткую историю ночной тревоги. Двое рябят сидят на моей по-

стели, остальные – на скамьях, внимательно наблюдают процедуру составления акта.

Акт пишется с душераздирающими подробностями.

– Земли у вас двенадцать десятин? Коней трое?

– Та яки там кони? – стонет Мусий Карпович. – Там же лошичка… два роки тилько…

– Трое, трое, – поддерживает Бурун и нежно треплет Мусия Карповича по плечу.

Я пишу дальше:

– «…в отрубе шесть вершков…»

Мусий Карпович протягивает руки:

– Ну что вы, бог с вами, Антон Семенович! Де ж там шесть? Там же и четырех нэма.

Шелапутин вдруг отрывается от повествования шепотом, показывает руками нечто равное полуметру и нахально смеется в глаза Мусию Карповичу:

– Вот такое? Вот такое? Правда?

Мусий Карпович отмахивается от его улыбки и покорно следит за моей ручкой.

Акт готов. Мусий Карпович обиженно подает мне руку на прощание и протягивает руку Буруну, как самому старшему.

– Напрасно вы это, хлопцы, делаете: всем жить нужно.

Бурун перед ним расшаркивается:

– Нет, отчего же, всегда рады помочь… – Вдруг он вспоминает: – Да, Антон Семенович, а как же дерево?

Мы задумываемся. Действительно, дерево почти срубле-

но, завтра его все равно дорубят и украдут. Бурун не ожидает конца нашего раздумья и направляется к дверям. На ходу он бросает вконец расстроенному Мусию Карповичу:

– Коня приведем, не беспокойтесь. Хлопцы, кто со мной? Ну вот, шести человек довольно. Веревка там есть, Мусий Карпович?

– До рижна привязана.

Все расходятся. Через час в колонию привозят длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по старой традиции, в пользу нашей колонии остается топор. Много воды утечет в нашей жизни, а во время взаимных хозяйственных расчетов долго еще будут говорить колонисты:

– Было три топора. Я тебе давал три топора. Два есть, а третий где?

– Какой «третий»?

– Какой? А Мусия Карповича, что тогда отобрали.

Не столько моральные убеждения и гнев, сколько вот эта интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и фантазировали на темы о наших похождениях, роднились в отдельных ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему имя – колония Горького.

6. Завоевание железного бака

Между тем наша колония понемногу начала развивать свою материальную историю. Бедность, доведенная до последних пределов, вши и отмороженные ноги не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хотя наш тридцатипятилетний Малыш и старая сеялка мало давали надежд на развитие сельского хозяйства, наши мечты получили именно сельскохозяйственное направление. Но это были только мечты. Малыш представлялся двигателем, настолько мало приспособленным для сельского хозяйства, что только в воображении можно было рисовать картину: Малыш за плугом. Кроме того, голодали в колонии не только колонисты, голодал и Малыш. С большим трудом мы доставали для него солому, иногда сено. Почти всю зиму мы не ездили, а мучились с ним, и у Калины Ивановича всегда болела правая рука от постоянных угрожающих верчений кнута, без которых Малыш просто останавливался.

Наконец, для сельского хозяйства не годилась самая почва нашей колонии. Это был песок, который при малейшем ветре перекатывался дюнами.

И сейчас я не вполне понимаю, каким образом, при описанных условиях, мы проделали явную авантюру, которая тем не менее поставила нас на ноги.

Началось с анекдота.

Вдруг нам улыбнулось счастье: мы получили ордер на дубовые дрова. Их нужно было свезти прямо с рубки. Это было в пределах нашего сельсовета, но в той стороне нам до сего времени бывать ни разу не приходилось.

Сговорившись с двумя нашими соседями-хуторянами, мы на их лошадях отправились в неведомую страну. Пока возчики бродили по рубке, взваливали на сани толстые дубовые колоды и спорили, «поплывэ чи не поплывэ» с саней такая колода в дороге, мы с Калиной Ивановичем обратили внимание на ряд тополей, поднимавшихся над камышами замерзшей речки.

Перебравшись через лед и поднявшись по какой-то аллейке в горку, мы очутились в мертвом царстве. До десятка больших и маленьких домов, сараев и хат, служб и иных сооружений находились в развалинах. Все они были равны в своем разрушении: на местах печей лежали кучи кирпича и глины, запорошенные снегом; полы, двери, окна, лестницы исчезли. Многие переборки и потолки тоже были сломаны, во многих местах разбирались уже кирпичные стены и фундаменты. От огромной конюшни остались только две продольных кирпичных стены, а над ними печально и глупо торчал в небе прекрасный, как будто только что окрашенный железный бак. Он один во всем имении производил впечатление чего-то живого, все остальное казалось уже трупом.

Но труп был богатый: в сторонке высился двухэтажный дом, новый, еще не облицованный, с претензией на стиль.

В его комнатах, высоких и просторных, еще сохранились лепные потолки и мраморные подоконники. В другом конце двора – новенькая конюшня пустотелого бетона. Даже и разрушенные здания при ближайшем осмотре поражали основательностью постройки, крепкими дубовыми срубами, мускулистой уверенностью связей, стройностью стропильных ног, точностью отвесных линий. Мощный хозяйственный организм не умер от дряхлости и болезней: он был насильственно прикончен в полном расцвете сил и здоровья.

Калина Иванович только крякал, глядя на все это богатство:

– Ты ж глянь, что тут делается: тут тебе и речка, тут тебе и сад, и луга вон какие!..

Речка окружала имение с трех сторон, обходя случайную на нашей равнине довольно высокую горку. Сад спускался к реке тремя террасами: на верхней – вишни, на второй – яблони, на нижней – целые плантации черной смородины.

На дворе работала большая пятиэтажная мельница. От рабочих мельницы мы узнали, что имение принадлежало братьям Трепке. Трепке ушли с деникинской армией, оставив свои дома наполненными добром. Добро это давно ушло в соседнюю Гончаровку и по хуторам, теперь туда же переходили и дома.

Калина Иванович разразился целой речью:

– Дикари, ты понимаешь, мерзавцы, адиоты! Тут вам такое добро – палаты, конюшни! Живи ж, сукин сын, сиди, хо-

зяйствуй, кофий пей, а ты, мерзавец, такую вот раму секирою бьешь. А почему? Потому что тебе нужно галушки сварить, так нет того – нарубить дров… Чтоб ты подавился тою галушкою, дурак, адиот! И сдохнет таким, понимаешь, никакая революция ему не поможет… Ах, сволочи, ах, подлецы, остолопы проклятые!.. Ну что ты скажешь?.. А скажите, пожалуйста, товарищ, – обратился Калина Иванович к одному из мельничьих, – а от кого это зависит, ежели б тот бачок получить? Вон тот, что над конюшней красуется. Все равно ж он тут пропадет без последствий.

– Бачок тот? А черт его знает! Тут сельсовет распоряжается…

– Ага! Ну это хорошо, – сказал Калина Иванович, и мы отправились домой.

На обратном пути, шагая по накатанной предвесенней дороге за санями наших соседей, Калина Иванович размечтался: как хорошо было бы этот самый бак получить, перевезти в колонию, поставить на чердак прачечной и таким образом превратить прачечную в баню.

Утром, отправляясь снова на рубку, Калина Иванович взял меня за пуговицу:

– Напиши, голубчик, бумажку этим самым сельсоветам. Им бак нужный, как собаке боковой карман, а у нас будет баня…

Чтобы доставить удовольствие Калине Ивановичу, я бумажку написал. К вечеру Калина Иванович возвратился

взбешенный:

– Вот паразиты! Они смотрят только теорехтически, а не прахтически. Говорят, бак этот самый – чтоб им пусто было! – государственная собственность. Ты видел таких адиотов? Напиши, я поеду в волисполком.

– Куда ты поедешь? Это же двадцать верст. На чем ты поедешь?

– А тут один человечек собирается, так я с ним и прокачусь.

Проект Калины Ивановича строить баню очень понравился всем колонистам, но в получение бака никто не верил.

– Давайте как-нибудь без бака этого. Можно деревянный устроить.

– Эх, ничего ты не понимаешь! Люди делали железные баки, значит, они понимали. А этот бак я у них, паразитов, с мясом вырву…

– А на чем вы его довезете? На Малыше?

– Довезем! Было б корыто, а свиньи будут.

Из волисполкома Калина Иванович возвратился еще злее и забыл все слова, кроме ругательных.

Целую неделю он, под хохот колонистов, ходил вокруг меня и клянчил:

– Напиши бумажку в уисполком.

– Отстань, Калина Иванович, есть другие дела, важнее твоего бака.

– Напиши, ну что тебе стоит? Чи тебе бумаги жалко, чи

што? Напиши, – вот увидишь, привезу бак.

И эту бумажку я написал Калине Ивановичу. Засовывая ее в карман, Калина Иванович наконец улыбнулся:

– Не может того быть, чтобы такой закон стоял: пропадает добро, а никто не думает. Это ж тебе не царское время.

Из уисполкома Калина Иванович приехал поздно вечером и даже не зашел ни ко мне, ни в спальню. Только наутро он пришел в мою комнату и был надменно-холоден, аристократически подобран и смотрел через окно в какую-то далекую даль.

– Ничего не выйдет, – сказал он сухо, протягивая мне бумажку.

Поперек нашего обстоятельного текста на ней было начертано красными чернилами коротко, решительно и до обидного безапелляционно: «Отказать».

Калина Иванович страдал длительно и страстно. Недели на две исчезло куда-то его милое старческое оживление.

В ближайший воскресный день, когда уже здорово издевался март над задержавшимся снегом, я пригласил некоторых ребят пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое-какие теплые вещи, и мы отправились… в имение Трепке.

– А не устроить ли нам здесь нашу колонию? – задумался я вслух.

– Где «здесь»?

– Да вот в этих домах.

– Так как же? Тут же нельзя жить…

– Отремонтируем.

Задоров залился смехом и пошел штопором по двору.

– У нас вот еще три дома не отремонтированы. Всю зиму не могли собраться.

– Ну хорошо, а если все-таки отремонтировать?

– О, тут была б колония! Речка ж, и сад, и мельница.

Мы лазили среди развалин и мечтали: здесь спальни, здесь столовая, тут клуб шикарный, это классы.

Возвратились домой уставшие и энергичные. В спальне шумно обсуждали подробности и детали будущей колонии. Перед тем как расходиться, Екатерина Григорьевна сказала:

– А знаете что, хлопцы, нехорошо это – заниматься такими несбыточными мечтами. Это не по-большевистски.

В спальне неловко притихли.

Я с остервенением глянул в лицо Екатерины Григорьевны, стукнул кулаком по столу и сказал:

– А я вам говорю: через месяц это имение будет наше! По-большевистски это будет?

Хлопцы взорвались хохотом и закричали «ура». Смеялся и я, смеялась и Екатерина Григорьевна.

Целую ночь я просидел над докладом в губисполком.

Через неделю меня вызвал завгубнаробразом.

– Хорошо придумали – поедем, посмотрим.

Еще через неделю наш проект рассматривался в губисполкоме. Оказалось, что судьба имения давно беспокоила

власть. А я имел случай рассказать о бедности, бесперспективности, заброшенности колонии, в которой уже родился живой коллектив.

Предгубисполкома сказал:

– Там нужен хозяин, а здесь хозяева ходят без дела. Пускай берут.

И вот я держу в руках ордер на имение, бывшее Трепке, а к нему шестьдесят десятин пахотной земли и утвержденная смета на восстановление. Я стою среди спальни, я еще с трудом верю, что это не сон, а вокруг меня взволнованная толпа колонистов, вихрь восторгов и протянутых рук.

– Дайте ж и нам посмотреть!

Входит Екатерина Григорьевна. К ней бросаются с пенящимся задором, и Шелапутин пронзительно звенит:

– Это по-большевицкому или по-какому? Вот теперь скажите.

– Что такое, что случилось?

– Это по-большевицкому? Смотрите, смотрите!..

Больше всех радовался Калина Иванович:

– Ты молодец, ибо, як там сказано у попов: просите – и обрящете, толцыте – и отверзется, и дастся вам…

– По шее, – сказал Задоров.

– Как же так – «по шее»? – обернулся к нему Калина Иванович. – Вот же ордер.

– Это вы «толцыте» за баком, и вам дали по шее. А здесь дело, нужное для государства, а не то что мы выпросили…

– Ты еще молод разбираться в Писании, – пошутил Калина Иванович, так как сердиться в эту минуту он не мог.

В первый же воскресный день он со мной и толпой колонистов отправился для осмотра нового нашего владения. Трубка его победоносно дымила в физиономию каждого кирпича трепкинских остатков. Он важно прошелся мимо бака.

– Когда же бак перевозить, Калина Иванович? – серьезно спросил Бурун.

– А на что его, паразита, перевозить? Он и здесь пригодится. Ты ж понимаешь: конюшня по последнему слову заграничной техники.

7. «Ни одна блоха не плоха»

Наше торжество по поводу завоевания наследства братьев Трепке не так скоро мы могли перевести на язык фактов. Отпуск денег и материалов по разным причинам задерживался. Самое же главное препятствие было в маленькой, но вредной речушке Коломак. Коломак, отделявший нашу колонию от имения Трепке, в апреле проявил себя как очень солидный представитель стихии. Сначала он медленно и упорно разливался, а потом еще медленнее уходил в свои скромные берега и оставлял за собой новое стихийное бедствие: непролазную, непроезжую грязь.

Поэтому «Трепке», как у нас тогда называли новое приобретение, продолжало еще долго оставаться в развалинах. Колонисты в это время предавались весенним переживаниям. По утрам, после завтрака, ожидая звонка на работу, они рядком усаживались возле амбара и грелись на солнышке, подставляя его лучам свои животы и пренебрежительно разбрасывая клифты по всему двору. Они могли часами молча сидеть на солнце, наверстывая зимние месяцы, когда у нас трудно было нагреться и в спальнях.

Звонок на работу заставлял их подниматься и нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во время работы они находили предлоги и технические возможности раз-другой повернуться каким-нибудь боком к солнцу.

В начале апреля убежал Васька Полещук. Он не был завидным колонистом. В декабре я наткнулся в наробразе на такую картину: толпа народу у одного из столиков окружила грязного и оборванного мальчика. Секция дефективных признала его душевнобольным и отправляла в какой-то специальный дом. Оборванец протестовал, плакал и кричал, что он вовсе не сумасшедший, что его обманом привезли в город, а на самом деле везли в Краснодар, где обещали поместить в школу.

– Чего ты кричишь? – спросил я его.

– Да вот, видишь, признали меня сумасшедшим…

– Слышал. Довольно кричать, едем со мной.

– На чем едем?

– На своих двоих. Запрягай!

– Ги-ги-ги!..

Физиономия у оборванца была действительно не из интеллигентных. Но от него веяло большой энергией, и я подумал: «Да все равно: ни одна блоха не плоха…»

Дефективная секция с радостью освободилась от своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в колонию. Дорогою он рассказывал обычную историю, начинающуюся со смерти родителей и нищенства. Звали его Васька Полещук.

По его словам, он был человек «ранетый» – участвовал во взятии Перекопа.

В колонии на другой же день он замолчал, и никому – ни воспитателям, ни хлопцам – не удавалось его разговорить.

Вероятно, подобные явления и побудили ученых признать Полещука сумасшедшим.

Хлопцы заинтересовались его молчанием и просили у меня разрешения применить к нему какие-то особые методы: нужно обязательно перепугать, тогда он сразу заговорит. Я категорически запретил это. Вообще, я жалел, что взял этого молчальника в колонию.

Вдруг Полещук заговорил, заговорил без всякого повода. Просто был прекрасный теплый весенний день, наполненный запахами подсыхающей земли и солнца. Полещук заговорил энергично, крикливо, сопровождая слова смехом и прыжками. Он по целым дням не отходил от меня, рассказывая о прелестях жизни в Красной армии и о командире Зубате.

– Вот был человек! Глаза такие, аж синие, такие черные, как глянет, так аж в животе холодно. Он как в Перекопе был, так аж нашим было страшно.

– Что ты все о Зубате рассказываешь? – спрашивают ребята. – Ты его адрес знаешь?

– Какой адрес?

– Адрес, куда ему писать, ты знаешь?

– Нет, не знаю. А зачем ему писать? Я поеду в город Николаев, там найду…

– Да ведь он тебя прогонит…

– Он меня не прогонит. Это другой меня прогнал. Говорит: нечего с дурачком возиться. А я разве дурачок?

Целыми днями Полещук рассказывал всем о Зубате, о его красоте, неустрашимости и что он никогда не ругался матерной бранью. Ребята прямо спрашивали:

– Подрывать собираешься?

Полещук поглядывал на меня и задумывался. Думал долго, и когда о нем уже забывали и ребята увлекались другой темой, он вдруг тормошил задавшего вопрос:

– Антон будет сердиться?

– За что?

– А вот если я подорву?

– А ты ж думаешь, не будет? Стоило с тобой возиться!..

Васька опять задумывался.

И однажды после завтрака прибежал ко мне Шелапутин.

– Васьки в колонии нету… И не завтракал – подорвал. Поехал к Зубате.

На дворе меня окружили хлопцы. Им было интересно знать, какое впечатление произвело на меня исчезновение Васьки.

– Полещук таки дернул…

– Весной запахло…

– В Крым поехал…

– Не в Крым, а в Николаев…

– Если пойти на вокзал, можно поймать…

И незавидный был колонист Васька, а побег его произвел на меня очень тяжелое впечатление. Было обидно и горько, что вот не захотел человек принять нашей небольшой жерт-

вы, пошел искать лучшего. И знал я в то же время, что наша колонистская бедность никого удержать не может. Ребятам я сказал:

– Ну и черт с ним! Ушел – и ушел. Есть дела поважнее.

В апреле Калина Иванович начал пахать. Это событие совершенно неожиданно свалилось на нашу голову. Комиссия по делам несовершеннолетних поймала конокрада, несовершеннолетнего. Преступника куда-то отправили, но хозяина лошади сыскать не могли. Комиссия неделю провела в страшных мучениях: ей очень непривычно было иметь у себя такое неудобное вещественное доказательство, как лошадь. Пришел в комиссию Калина Иванович, увидел мученическую жизнь и грустное положение ни в чем не повинной лошади, стоявшей посреди мощенного булыжником двора, – ни слова не говоря, взял ее за повод и привел в колонию. Вслед ему летели облегченные вздохи членов комиссии.

В колонии Калину Ивановича встретили крики восторга и удивления. Гуд принял в трепещущие руки от Калины Ивановича повод, а в просторы своей гудовской души такое напутствие:

– Смотри ж ты мине! Это тебе не то, как вы один з одним обращаетесь! Это животная – она языка не имеет и ничего не может сказать. Пожалиться ей, сами знаете, невозможно. Но если ты ей будешь досаждать и она тебе стукнет копытом по башке, так к Антону Семеновичу не ходи. Хочь – плачь, хочь – не плачь, я тебе все равно споймаю. И голову провалю.

Мы стояли вокруг этой торжественной группы, и никто из нас не протестовал против столь грозных опасностей, угрожающих башке Гуда. Калина Иванович сиял и улыбался сквозь трубку, произнося такую террористическую речь. Лошадь была рыжей масти, еще не стара и довольно упитанна.

Калина Иванович с хлопцами несколько дней провозился в сарае. При помощи молотков, отверток, просто кусков железа, наконец, при помощи многих поучительных речей ему удалось наладить нечто вроде плуга из разных ненужных остатков старой колонии.

И вот благословенная картина: Бурун с Задоровым пахали. Калина Иванович ходил рядом и говорил:

– Ах, паразиты, и пахать не умеют: вот тебе огрих, вот огрих…

Хлопцы добродушно огрызались:

– А вы бы сами показали, Калина Иванович. Вы, наверное, сами никогда не пахали.

Калина Иванович вынимал изо рта трубку, старался сделать зверское лицо:

– Кто, я не пахав? Разве нужно обязательно самому пахать? Нужно понимать. Я вот понимаю, что ты огрихав наделав, а ты не понимаешь.

Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд шпионил за пахарями, не издеваются ли они над конем, а Братченко просто влюбленными глазами смотрел на Рыжего. Он пристроился к Губу в качестве добровольного помощника по конюшне.

В сарае возились несколько старших хлопцев у старой сеялки. На них покрикивал и поражал их впечатлительные души кузнечно-слесарной эрудицией Софрон Головань.

Софрон Головань имел несколько очень ярких черт, заметно выделявших его из среды прочих смертных. Он был огромного роста, замечательно жизнерадостен, всегда был выпивши и никогда не бывал пьян. Обо всем имел свое собственное и всегда удивительно невежественное мнение. Головань был чудовищное соединение кулака с кузнецом: у него были две хаты, три лошади, две коровы и кузница. Несмотря на свое кулацкое состояние, он все же был хорошим кузнецом, и его руки были несравненно просвещеннее его головы. Кузница Софрона стояла на самом харьковском шляху, рядом с постоялым двором, и в этом ее географическом положении был запрятан секрет обогащения фамилии Голованей.

В колонию Софрон пришел по приглашению Калины Ивановича. В наших сараях нашелся кое-какой кузнечный инструмент. Сама кузница в полуразрушенном состоянии, но Софрон предлагал перенести сюда свою наковальню и горн, прибавить кое-какой инструмент и работать в качестве инструктора. Он брался даже за свой счет поправить здание кузницы. Я удивлялся, откуда это у Голованя такая готовность идти к нам на помощь.

Недоумение мое разрешил на «вечернем докладе» Калина Иванович.

Засовывая бумажку в стекло моего ночника, чтобы раскурить трубку, Калина Иванович сказал:

– А этот паразит Софрон недаром к нам идет. Его, знаешь, придавили мужички, так он боится, как бы кузницу у него не отобрали, а тут он, знаешь, как будто на совецькой службе будет считаться.

– Что же нам с ним делать? – спросил я Калину Ивановича.

– А что ж нам делать? Кто сюда пойдет? Где мы горн возьмем? А струмент? И квартир у нас нету, а если и есть какая халупа, так и столярей же нужно звать. И знаешь, – прищурился Калина Иванович, – нам што: хоть рыжа, хоть кирпата, абы хата богата. Што ж с того, што он кулак?.. Работать же он будет все равно, как и настоящий человек.

Калина Иванович задумчиво дымил в низкий потолок моей комнаты и вдруг заулыбался:

– Мужики эти, паразиты, все равно у него отберут кузню, а толк какой с того? Все равно проведуть без дела. Так лучше пускай у нас кузня будет, а Софрону все равно пропадать. Подождем малость – дадим ему по шапке: у нас совецькая учреждения, а ты што ж, сукин сын, мироедом був, кровь человеческую пил, хе-хе-хе!..

Мы уже получили часть денег на ремонт имения, но их было так мало, что от нас требовалась исключительная изворотливость. Нужно было все делать своими руками. Для этого нужна была кузница, нужна была и столярная мастер-

ская. Верстаки у нас были, на них кое-как можно было работать, инструмент купили. Скоро в колонии появился и инструктор-столяр. Под его руководством хлопцы энергично принялись распиливать привезенные из города доски и клеить окна и двери для новой колонии. К сожалению, ремесленные познания наших столяров были столь ничтожны, что процесс приготовления для будущей жизни окон и дверей в первое время был очень мучительным. Кузнечные работы – а их было немало – сначала тоже не радовали нас. Софрон не особенно стремился к скорейшему окончанию восстановительного периода в Советском государстве. Жалованье его как инструктора выражалось в цифрах ничтожных: в день получки Софрон демонстративно все полученные деньги отправлял с одним из ребят к бабе-самогонщице с приказом:

– Три бутылки первака.

Я об этом узнал не скоро. И вообще, в то время я был загипнотизирован списком: скобы, навесы, петли, щеколды. Вместе со мной все были увлечены вдруг развернувшейся работой, из ребят уже выделились столяры и кузнецы, в кармане у нас стала шевелиться копейка.

Нас прямо в восторг приводило то оживление, которое принесла с собою кузница. В восемь часов в колонии раздавался веселый звук наковальни, в кузнице всегда звучал смех, у ее широко раскрытых ворот то и дело торчали два-три селянина, говорили о хозяйских делах, о продразверст-

ке, о председателе комнезама[6] Верхоле, о кормах и сеялке. Селянам мы ковали лошадей, натягивали шины, ремонтировали плуги. С незаможников мы брали половинную плату, и это обстоятельство сделалось отправным пунктом для бесконечных дискуссий о социальной справедливости и о социальной несправедливости.

Софрон предложил сделать для нас шарабан. В неистощимых на всякий хлам сараях колонии нашелся какой-то кузов. Калина Иванович привез из города пару осей. По ним в течение двух дней колотили молотами и молотками в кузнице. Наконец Софрон заявил, что шарабан готов, но нужны рессоры и колеса. Рессор у нас не было, колес тоже не было. Я долго рыскал по городу, выпрашивал старые рессоры, а Калина Иванович отправился в длительное путешествие в глубь страны. Он ездил целую неделю, привез две пары новеньких ободьев и несколько сот разнообразных впечатлений, среди них главное было:

– От некультурный народ – это мужики!

Софрон привел с хутора Козыря. Козырю было сорок лет, он осенял себя крестным знамением при всяком подходящем случае, был очень тих, вежлив и всегда улыбчиво оживлен. Он недавно вышел из сумасшедшего дома и до смерти дрожал при упоминании имени собственной супруги, которая была виновницей неправильного диагноза губернских психиаторов. Козырь был колесник. Он страшно обрадовал-

[6] Комнезам – комитет незаможных (неимущих) крестьян.

ся нашему предложению сделать для нас четыре колеса. Особенности его семейной жизни и блестящие задатки подвижничества особенно подтолкнули его на чисто деловое предложение:

– Знаете что, товарищи, спаси господи, позвали меня, старика, знаете, что я вам скажу? Я у вас тут и жить буду.

– Так у нас же негде.

– Ничего, ничего, вы не беспокойтесь, я найду, и Господь Бог поможет. Теперь лето, а на зиму соберемся как-нибудь, вон в том сарайчике я устроюсь, я хорошо устроюсь…

– Ну живите.

Козырь закрестился и немедленно расширил деловую сторону вопроса:

– Ободьев мы достанем. То Калина Иванович не знали, а я все знаю. Сами привезут, сами привезут мужички, вот увидите, Господь нас не оставит.

– Да нам же больше не нужно, дядя.

– Как «не нужно», как «не нужно», спаси бог?.. Вам не нужно, так людям нужно: как же может мужичок без колеса? Продадите – заработаете, мальчикам на пользу будет.

Калина Иванович рассмеялся и поддержал домогательство Козыря:

– Да черт с ним, нехай останется. В природе, знаешь, все так хорошо устроено, что и человек на что-нибудь пригодится.

Козырь сделался общим любимцем колонистов. К его ре-

лигиозности относились как к особому виду сумасшествия, очень тяжелого для больного, но нисколько не опасного для окружающих. Даже больше: Козырь сыграл определенно положительную роль в воспитании отвращения к религии.

Он поселился в небольшой комнате возле спален. Здесь он был прекрасно укрыт от агрессивных действий его супруги, которая отличалась действительно сумасшедшим характером. Для ребят сделалось истинным наслаждением защищать Козыря от пережитков его прошлой жизни. Козыриха появлялась в колонии всегда с криком и проклятиями. Требуя возвращения мужа к семейному очагу, она обвиняла меня, колонистов, советскую власть и «этого босяка» Софрона в разрушении ее семейного счастья. Хлопцы с нескрываемой иронией доказывали ей, что Козырь ей в мужья не годится, что производство колес – гораздо более важное дело, чем семейное счастье. Сам Козырь в это время сидел, притаившись в своей комнате, и терпеливо ожидал, когда атака окончательно будет отбита. Только когда голос обиженной супруги раздавался уже за озером и от посылаемых ею пожеланий долетали только отдаленные обрывки: «…сыны… чтоб вам… вашу голову…» – только тогда Козырь появлялся на сцене:

– Спаси Христос, сынки! Такая неаккуратная женщина…

Несмотря на столь враждебное окружение, колесная мастерская начинала приносить доход. Козырь, буквально при помощи одного крестного знамения, умел делать солидные

коммерческие дела; к нам без всяких хлопот привозили ободья и даже денег немедленно не требовали. Дело в том, что он действительно был замечательный колесник и его продукция славилась далеко за пределами нашего района.

Наша жизнь стала сложнее и веселее. Калина Иванович все-таки посеял на нашей поляне десятин пять овса, в конюшне красовался Рыжий, на дворе стоял шарабан, единственным недостатком которого была его невиданная вышина: он поднимался над землей не меньше как на сажень, и сидящему в его корзинке пассажиру всегда казалось, что влекущая шарабан лошадь помещается хотя и впереди, но где-то далеко внизу.

Мы развили настолько напряженную деятельность, что уже начинали ощущать недостаток в рабочей силе. Пришлось наскоро отремонтировать еще одну спальню-казарму, и скоро к нам прибыло подкрепление. Это был совершенно новый сорт.

К тому времени удалось ликвидировать многое число атаманов и батьков, и все несовершеннолетние соратники разных Левченок и Марусь, военная и бандитская роль которых не шла дальше обязанностей конюхов и кухонных мальчиков, присылались в колонию. Благодаря этому историческому обстоятельству в колонии появились имена: Карабанов, Приходько, Голос, Сорока, Вершнев, Митягин и другие.

8. Характер и культура

Приход новых колонистов сильно расшатал наш некрепкий коллектив, и мы снова приблизились к «малине».

Наши первые воспитанники были приведены в порядок только для нужд самой первой необходимости. Последователи отечественного анархизма еще менее склонны были подчиняться какому бы то ни было порядку. Нужно, однако, сказать, что открытое сопротивление и хулиганство по отношению к воспитательскому персоналу в колонии никогда не возрождалось. Можно думать, что Задоров, Бурун, Таранец и другие умели сообщить новеньким краткую историю первых горьковских дней. И старые и новые колонисты всегда демонстрировали уверенность, что воспитательский персонал не является силой, враждебной по отношению к ним. Главная причина такого настроения, безусловно, лежала в работе наших воспитателей, настолько самоотверженной и очевидно трудной, что она, естественно, вызывала к себе уважение. Поэтому колонисты, за очень редким исключением, всегда были в хороших отношениях с нами, признавали необходимость работать и заниматься в школе, в сильной мере понимали, что это вытекает из общих наших интересов. Лень и неохота переносить лишения у нас проявлялись в чисто зоологических формах и никогда не принимали формы протеста.

Мы отдавали себе отчет в том, что все это благополучие есть чисто внешняя форма дисциплины и что за ним не скрывается никакая, даже самая первоначальная культура.

Вопрос, почему колонисты продолжают жить в условиях нашей бедности и довольно тяжелого труда, почему они не разбегаются, разрешался, конечно, не только в педагогической плоскости. 1921 год для жизни на улице не представлял ничего завидного. Хотя наша губерния не была в списке голодающих, но в самом городе все же было очень сурово и, пожалуй, голодно. Кроме того, в первые годы мы почти не получали квалифицированных беспризорных, привыкших к бродяжничеству на улице. Большею частью наши ребята были дети из семьи, только недавно порвавшие с нею связь.

Хлопцы наши представляли в среднем комбинирование очень ярких черт характера с очень узким культурным состоянием. Как раз таких и старались присылать в нашу колонию, специально предназначенную для трудновоспитуемых. Подавляющее большинство их было малограмотно или вовсе неграмотно, почти все привыкли к грязи и вшам, по отношению к другим людям у них выработалась постоянная защитно-угрожающая поза примитивного героизма.

Выделялись из всей этой толпы несколько человек более высокого интеллектуального уровня, как Задоров, Бурун, Ветковский, Братченко, а из вновь прибывших – Карабанов и Митягин, остальные только очень постепенно и чрезвычайно медленно приобщались к приобретениям человече-

ской культуры, тем медленнее, чем мы были беднее и голоднее.

В первый год нас особенно удручало их постоянное стремление к ссоре друг с другом, страшно слабые коллективные связи, разрушаемые на каждом шагу из-за первого пустяка. В значительной мере это проистекало даже не из вражды, а все из той же позы героизма, не корректированной никаким политическим самочувствием. Хотя многие из них побывали в классово враждебных лагерях, у них не было никакого ощущения принадлежности к тому или другому классу. Детей рабочих у нас почти не было, пролетариат был для них чем-то далеким и неизвестным, к крестьянскому труду большинство относилось с глубоким презрением – не столько, впрочем, к труду, сколько к отсталому крестьянскому быту, крестьянской психике. Оставался, следовательно, широкий простор для всякого своеволия, для проявления одичавшей, припадочной в своем одиночестве личности.

Картина в общем была тягостная, но все же зачатки коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, потихоньку зеленели в нашем обществе, и эти зачатки во что бы то ни стало нужно было спасти, нельзя было новым пополнениям позволить приглушить эти драгоценные зеленя. Главной своей заслугой я считаю, что тогда я заметил это важное обстоятельство и по достоинству его оценил. Защита этих первых ростков потом оказалась таким невероятно трудным, таким бесконечно длинным и тягостным процессом, что, если

бы я знал это заранее, я, наверное, испугался бы и отказался от борьбы. Хорошо было то, что я всегда ощущал себя накануне победы, для этого нужно было быть неисправимым оптимистом.

Каждый день моей тогдашней жизни обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние.

Вот идет все как будто благополучно. Воспитатели закончили вечером свою работу, прочитали книжку, просто побеседовали, поиграли, пожелали ребятам спокойной ночи и разошлись. Хлопцы остались в мирном настроении, приготовились укладываться спать. В моей комнате отбиваются последние удары дневного рабочего пульса, сидит еще Калина Иванович и, по обыкновению, занимается каким-нибудь обобщением, торчит кто-нибудь из любопытных колонистов, у дверей Братченко с Гудом приготовились к очередной атаке на Калину Ивановича по вопросам фуражных, и вдруг с криком врывается пацан:

– В спальне хлопцы режутся!

Я – бегом из комнаты. В спальне содом и крик. В углу две зверски ощерившиеся группы. Угрожающие жесты и наскоки перемешиваются с головокружительной руганью; кто-то кого-то «двигает» в ухо, Бурун отнимает у одного из героев финку, а издали ему кричат:

– А ты чего мешаешься? Хочешь получить мою расписку?

На кровати, окруженный толпой сочувствующих, сидит раненый и молча перевязывает куском простыни порезан-

ную руку.

Я никогда не разнимал дерущихся, не старался их перекричать.

За моей спиной Калина Иванович испуганно шепчет:

– Ой, скорийше, скорийше, голубчику, бо вони ж, паразиты, порежут один одного…

Но я стою молча в дверях и наблюдаю. Постепенно ребята замечают мое присутствие и замолкают. Быстро наступающая тишина приводит в себя и самых разъяренных. Прячутся финки и опускаются кулаки, гневные и матерные монологи прерываются на полуслове. Но я продолжаю молчать: внутри меня самого закипают гнев и ненависть ко всему этому дикому миру. Это ненависть бессилия, потому что я очень хорошо знаю: сегодня не последний день.

Наконец в спальне устанавливается жуткая, тяжелая тишина, утихают даже глухие звуки напряженного дыхания.

Тогда вдруг взрываюсь я сам, взрываюсь и в приступе настоящей злобы и в совершенно сознательной уверенности, что так нужно:

– Ножи на стол! Да скорее, черт!..

На стол выкладываются ножи: финки, кухонные, специально взятые для расправы, перочинные и самоделковые, изготовленные в кузнице. Молчание продолжает висеть в спальне. Возле стола стоит и улыбается Задоров, прелестный, милый Задоров, который сейчас кажется мне единственным родным, близким человеком. Я еще коротко при-

казываю:

– Кистени!

– Один у меня, я отнял, – говорит Задоров.

Все стоят, опустив головы.

– Спать!..

Я не ухожу из спальни, пока все не укладываются.

На другой день ребята стараются не вспоминать вчерашнего скандала. Я тоже ничем не напоминаю о нем. Проходит месяц-другой. В течение этого времени отдельные очаги вражды в каких-то тайных углах слабо чадят, и если пытаются разгореться, то быстро притушиваются в самом коллективе. Но вдруг опять разрывается бомба, и опять разъяренные, потерявшие человеческий вид колонисты гоняются с ножами друг за другом.

В один из вечеров я увидел, что мне необходимо прикрутить гайку, как у нас говорят. После одной из драк я приказываю Чоботу, одному из самых неугомонных рыцарей финки, идти в мою комнату. Он покорно бредет. У себя я ему говорю:

– Тебе придется оставить колонию.

– А куда я пойду?

– Я тебе советую идти туда, где позволено резаться ножами. Сегодня ты из-за того, что товарищ не уступил тебе место в столовой, пырнул его ножом. Вот и ищи такое место, где споры разрешаются ножом.

– Когда мне идти?

– Завтра утром.

Он угрюмо уходит. Утром, за завтраком, все ребята обращаются ко мне с просьбой: пусть Чобот останется, они за него ручаются.

– Чем ручаетесь?

Не понимают.

– Чем ручаетесь? Вот если он все-таки возьмет нож, что вы тогда будете делать?

– Тогда вы его выгоните.

– Значит, вы ничем не ручаетесь? Нет, он пойдет из колонии.

Чобот после завтрака подошел ко мне и сказал:

– Прощайте, Антон Семенович, спасибо за науку…

– До свиданья, не поминай лихом. Если будет трудно, приходи, но не раньше как через две недели.

Через месяц он пришел, исхудавший и бледный:

– Я вот пришел, как вы сказали.

– Не нашел такого места?

Он улыбнулся:

– Отчего «не нашел»? Есть такие места… Я буду в колонии, я не буду брать ножа в руки.

Колонисты любовно встретили нас в спальне:

– Все-таки простили! Мы ж говорили.

9. «Есть еще лыцари на Украине»

В один из воскресных дней напился Осадчий. Его привели ко мне потому, что он буйствовал в спальне. Осадчий сидел в моей комнате и, не останавливаясь, нес какую-то пьяно-обиженную чепуху. Разговаривать с ним было бесполезно. Я оставил его у себя и приказал ложиться спать. Он покорно заснул.

Но, войдя в спальню, я услышал запах спирта. Многие из хлопцев явно уклонялись от общения со мной. Я не хотел подымать историю с розыском виновных и только сказал:

– Не только Осадчий пьян. Еще кто-то выпил.

Через несколько дней в колонии снова появились пьяные. Часть из них избегала встречи со мной, другие, напротив, в припадке пьяного раскаяния приходили ко мне, слезливо болтали и признавались в любви.

Они не скрывали, что были в гостях на хуторе.

Вечером в спальне поговорили о вреде пьянства, провинившиеся дали обещание больше не пить, я сделал вид, будто до конца доволен развязкой, и даже не стал никого наказывать. У меня уже был маленький опыт, и я хорошо знал, что в борьбе с пьянством нужно бить не по колонистам – нужно бить кого-то другого. Кстати, и этот другой был недалеко.

Мы были окружены самогонным морем. В самой колонии

очень часто бывали пьяные из служащих и крестьян. В это же время я узнал, что Головань посылал ребят за самогоном. Головань и не отказывался:

– Да что ж тут такого?

Калина Иванович, который сам никогда не пил, раскричался на Голованя:

– Ты понимаешь, паразит, что значит советская власть? Ты думаешь, советская власть для того, чтобы ты самогоном наливался?

Головань неловко поворачивался на шатком и скрипучем стуле и оправдывался:

– Да что ж тут такого? Кто не пьет, спросите… У всякого аппарат, и каждый пьет, сколько ему по аппетиту. Пускай советская власть сама не пьет…

– Какая советская власть?

– Да кажная. И в городе пьют, и у хохлов пьют.

– Вы знаете, кто здесь продает самогонку? – спросил я у Софрона.

– Да кто его знает, я сам никогда не покупал. Нужно – пошлешь кого-нибудь. А вам на что? Отбирать будете?

– А что же вы думаете? И буду отбирать…

– Хе, сколько уже милиция отбирала, и то ничего не вышло.

На другой же день я в городе добыл мандат на беспощадную борьбу с самогоном на всей территории нашего сельсовета. Вечером мы с Калиной Ивановичем совещались. Кали-

на Иванович был настроен скептически:

– Не берись ты за это грязное дело. Я тебе скажу, тут у них лавочка: председатель свой, понимаешь, Гречаный. А на хуторах, куда ни глянь, все Гречаные да Гречаные. Народ, знаешь, того, на конях не пашут, а все – волики. От ты посчитай: Гончаровка у них вот где! – Калина Иванович показал сжатый кулак. – Держуть, паразиты, и ничего не сделаешь.

– Не понимаю, Калина Иванович. А при чем тут самогонка?

– Ой и чудак же ты, а еще освиченный человек! Так власть же у них вся в руках. Ты их краще не чипай, а то заедят. Заедят, понимаешь?

В спальне я сказал колонистам:

– Хлопцы, прямо говорю вам: не дам пить никому. И на хуторах разгоню эту самогонную банду. Кто хочет мне помочь?

Большинство замялись, но другие накинулись на мое предложение со страстью. Карабанов сверкал черными огромными, как у коня, глазами:

– Это дуже[7] хорошее дело. Дуже хорошее. Этих граков нужно трохи той… прижмать.

Я пригласил на помощь троих: Задорова, Волохова и Таранца. Поздно ночью в субботу мы приступили к составлению диспозиции. Вокруг моего ночника склонились над составленным мною планом хутора, и Таранец, запустивши ру-

[7] Очень.

ки в рыжие патлы, водил по бумаге носом и говорил:

– Нападем на одну хату, так в других попрячут. Троих мало.

– Разве так много хат с самогоном?

– Почти в каждой: у Мусия Карповича варят, у Андрия Карповича варят и у самого председателя Сергия Гречаного варят. Верхолы, так они все делают, и в городе бабы продают. Надо больше хлопцев, а то, знаете, понабивают нам морды – и все.

Волохов молча сидел в углу и зевал.

– Понабивают – как же! Возьмем одного Карабанова, и довольно. И пальцем никто не тронет. Я этих граков знаю. Они нашего брата боятся.

Волохов шел на операцию без увлечения. Он и в это время относился ко мне с некоторым отчуждением: не любил парень дисциплины. Но он был сильно предан Задорову и шел за ним, не проверяя никаких принципиальных положений.

Задоров, как всегда, спокойно и уверенно улыбался; он умел все делать, не растрачивая своей личности и не обращая в пепел ни одного грамма своего существа. И, как и всегда, я никому так не верил, как Задорову: так же, не растрачивая личности, Задоров может пойти на любой подвиг, если к подвигу его призовет жизнь.

И сейчас он сказал Таранцу:

– Ты не егози, Федор, говори кратко, с какой хаты начнем и куда дальше. А завтра видно будет. Карабанова нужно

взять, это верно, он умеет с граками разговаривать, потому что и сам грак. А теперь идем спать, а то завтра нужно выходить пораньше, пока на хуторах не перепились. Так, Грицько?

– Угу, – просиял Волохов.

Мы разошлись. По двору гуляли Лидочка и Екатерина Григорьевна, и Лидочка сказала:

– Хлопцы говорят, что пойдете самогонку трусить? Ну на что это вам сдалось? Что это, педагогическая работа? Ну на что это похоже?

– Вот это и есть педагогическая работа. Пойдемте завтра с нами.

– А что ж, думаете, испугалась? И пойду. Только это не педагогическая работа…

– Так вы идете?

– Иду.

Екатерина Григорьевна отозвала меня в сторону:

– Ну для чего вы берете этого ребенка?

– Ничего, ничего, – закричала Лидия Петровна, – я все равно пойду!

Таким образом у нас составилась комиссия из пяти человек.

Часов в семь утра мы постучали в ворота Андрия Карповича Гречаного, ближайшего нашего соседа. Наш стук послужил сигналом для сложнейшей собачьей увертюры, которая продолжалась минут пять.

Только после увертюры началось самое действие, как и полагается.

Оно началось выходом на сцену деда Андрия Гречаного, мелкого старикашки с облезлой головой, но сохранившего аккуратно подстриженную бородку. Дед Андрий спросил нас неласково:

– Чего тут добиваетесь?

– У вас есть самогонный аппарат, мы пришли его уничтожить, – сказал я. – Вот мандат от губмилиции…

– Самогонный аппарат? – спросил дед Андрий растерянно, бегая острым взглядом по нашим лицам и живописным одеждам колонистов.

Но в этот момент бурно вступил фортиссимо собачий оркестр, потому что Карабанов успел за спиной деда продвинуться ближе к заднему плану и вытянуть предусмотрительно захваченным «дрючком» рыжего кудлатого пса, ответившего на это выступление оглушительным соло на две октавы выше обыкновенного собачьего голоса.

Мы бросились в прорыв, разгоняя собак. Волохов закричал на них властным басом, и собаки разбежались по углам двора, оттеняя дальнейшие события маловыразительной музыкой обиженного тявканья. Карабанов был уже в хате, и когда мы туда вошли с дедом, он победоносно показывал нам искомое: самогонный аппарат.

– Ось![8]

[8] Вот.

Дед Андрий топтался по хате и блестел, как в опере, новеньким молескиновым пиджачком.

– Самогон вчера варили? – спросил Задоров.

– Та вчера, – сказал дед Андрий, растерянно почесывая бородку и поглядывая на Таранца, извлекающего из-под лавки в переднем углу полную четверть розово-фиолетового нектара.

Дед Андрий вдруг обозлился и бросился к Таранцу, оперативно правильно рассчитывая, что легче всего захватить его в тесном углу, перепутанном лавками, иконами и столом. Таранца он захватил, но четверть через голову деда спокойно принял Задоров, а деду досталась издевательски открытая обворожительная улыбка Таранца:

– А что такое, дедушка?

– Як вам не стыдно! – с чувством закричал дед Андрий. – Совести на вас нету, по хатам ходите, грабите! И дивчат с собою привели. Колы вже покой буде людям, колы вже на вас лыха годына посядэ?..

– Э, да вы, диду, поэт, – сказал с оживленной мимикой Карабанов и, подпершись дрючком, застыл перед дедом в декоративно-внимательной позе.

– Вон из моей хаты! – закричал дед Андрий и, схвативши у печи огромный рогач, неловко стукнул им по плечу Волохова.

Волохов засмеялся и поставил рогач на место, показывая деду новую деталь событий:

– Вы лучше туда гляньте.

Дед глянул и увидел Таранца, слезающего с печи со второй четвертью самогона, улыбающегося по-прежнему искренно и обворожительно. Дед Андрий сел на лавку, опустил голову и махнул рукой.

К нему подсела Лидочка и ласково заговорила:

– Андрию Карповичу! Вы ж знаете: запрещено ж законом варить самогонку. И хлеб же на это пропадает, а кругом же голод, вы же знаете.

– Голод у ледаща[9]. А хто робыв, у того не буде голоду.

– А вы, диду, робылы? – звонко и весело спросил Таранец, сидя на печи. – А можэ, у вас робыв Степан Нечипоренко?

– Степан?

– Ага ж, Степан. А вы его выгнали и не заплатили и одежи не далы, так он в колонию просится.

Таранец весело щелкнул языком на деда и соскочил с печи.

– Куда все это девать? – спросил Задоров.

– Разбейте все на дворе.

– И аппарат?

– И аппарат.

Дед не вышел на место казни – он остался в хате выслушивать ряд экономических, психологических и социальных соображений, которые с таким успехом начала перед ним развивать Лидия Петровна. Хозяйские интересы на дворе пред-

[9] Лодырь.

ставляли собаки, сидевшие по углам, полные негодования. Только когда мы выходили на улицу, некоторые из них выразили запоздавший бесцельный протест.

Лидочку Задоров предусмотрительно вызвал из хаты:

– Идите с нами, а то дед Андрий из вас колбас наделает…

Лидочка выбежала, воодушевленная беседой с дедом Андрием:

– А вы знаете, он все понял! Он согласился, что варить самогон – преступление.

Хлопцы ответили смехом. Карабанов прищурился на Лидочку:

– Согласился? От здорово. Як бы вы посидели с ним подольше, то он и сам разбил бы аппарат? Правда ж?

– Скажите спасибо, что бабы его дома не было, – сказал Таранец, – до церкви пошла, в Гончаровку. Про то вам еще с Верхолыхой поговорить придется.

Лука Семенович Верхола часто бывал в колонии по разным делам, и мы иногда обращались к нему по нужде: то хомут, то бричка, то бочка. Лука Семенович был талантливейший дипломат, разговорчивый, услужливый и вездесущий. Он был очень красив и умел холить курчавую ярко-рыжую бороду. У него было три сына: старший, Иван, был неотразим на пространстве радиусом десять километров, потому что играл на трехрядной венской гармонике и носил умопомрачительные зеленые фуражки.

Лука Семенович встретил нас приветливо:

– А, соседи дорогие! Пожалуйте, пожалуйте! Слышал, слышал, самовары шукаете? Хорошее дело, хорошее дело. Сидайте! Молодой человек, сидайте ж на ослони ось. Ну как? Достали каменщиков для Трепке? А то я завтра поеду на Бригадировку, так привезу вам. Ох, знаете, и каменщики ж!.. Та чего ж вы, молодой человек, не сидаете? Та нэма в мене аппарата, нэма, я таким делом не занимаюсь! Низзя! Что вы… как можно! Раз совецькая власть сказала – низзя, я ж понимаю, как же… Жинко, ты ж там не барыся – дорогие ж гости!

На столе появилась миска, до краев полная сметаны, и горка пирогов с творогом. Лука Семенович упрашивал, не лебезил, не унижался. Он ворковал приветливым открытым басом, у него были манеры хорошего хлебосольного барина. Я заметил, как при виде сметаны дрогнули сердца колонистов: Волохов и Таранец глаз не могли отвести от дорогого угощения. Задоров стоял у двери и, краснея, улыбался, понимая полную безвыходность положения. Карабанов сидел рядом со мной и, улучив подходящий момент, шептал:

– От и сукин же сын!.. Ну що ты робытымешь? Ий-богу, приыйдется исты. Я не вдержусь, ий-богу, не вдержусь!

Лука Семенович поставил Задорову стул:

– Кушайте, дорогие гости, кушайте! Можно было бы и самогончику достать, так вы ж по такому делу…

Задоров сел против меня, опустил глаза и закусил полпирога, обливая свой подбородок сметаной; у Таранца до са-

мых ушей протянулись сметанные усы; Волохов пожирал пирог за пирогом без видимых признаков какой-либо эмоции.

– Ты еще подсыпь пирогов, – приказал Лука Семенович жене. – Сыграй, Иване…

– Та в церкви ж служиться, – сказала жинка.

– Это ничего, – возразил Лука Семенович, – для дорогих гостей можно.

Молчаливый, гладкий красавец Иван заиграл «Светит месяц». Карабанов лез под лавку от смеха:

– От так попали в гости!..

После угощения разговорились. Лука Семенович с великим энтузиазмом поддерживал наши планы в имении Трепке и готов был прийти на помощь всеми своими хозяйскими силами:

– Вы не сидить тут, в лесу. Вы скорийше туды перебирайтесь, там хозяйского глазу нэма. И берить мельницу, берить мельницу. Этой самый комбинат – он не умееть этого дела руководить. Мужики жалуются, дуже жалуются. Надо бывает крупчатки змолоть на Пасху, на пироги ж, так месяц целый ходишь-ходишь, не добьешься. Мужик любит пироги исты, а яки ж пироги, когда нету самого главного – крупчатки?

– Для мельницы у нас еще пороху мало, – сказал я.

– Чего там «мало»? Люди ж помогут… Вы знаете, как вас тут народ уважает. Прямо все говорят: вот хороший человек.

В этот лирический момент в дверях появился Таранец, и

в хате раздался визг перепуганной хозяйки. У Таранца в руках была половина великолепного самогонного аппарата, самая жизненная его часть – змеевик. Как-то мы и не заметили, что Таранец оставил нашу компанию.

– Это на чердаке, – сказал Таранец, – там и самогонка есть. Еще теплая.

Лука Семенович захватил бороду кулаком и сделался серьезен – на самое короткое мгновение. Он сразу же оживился, подошел к Таранцу и остановился против него с улыбкой. Потом почесал за ухом и прищурил на меня один глаз:

– С этого молодого человека толк будет. Ну что ж, раз такое дело, ничего не скажу, ничего… и даже не обижаюсь. Раз по закону, значит – по закону. Поломаете, значит? Ну что ж… Иван, ты им помоги…

Но Верхолыха не разделила лояльности своего мудрого супруга. Она вырвала у Таранца змеевик и закричала:

– Та хто вам дасть, хто вам дасть ломать?! Зробите, а тоди – ломайте! Босяки чортови, иды, бо як двыну по голови…

Монолог Верхолыхи оказался бесконечно длинен. Притихшая до того в переднем углу Лидочка пыталась открыть спокойную дискуссию о вреде самогона, но Верхолыха обладала замечательными легкими. Уже были разбиты бутылки с самогоном, уже Карабанов железным ломом доканчивал посреди двора уничтожение аппарата, уже Лука Семенович приветливо прощался с нами и просил заходить, уверяя, что он не обижается, уже Задоров пожал руку Ивану, и уже

Иван что-то захрипел на гармошке, а Верхолыха все кричала и плакала, все находила новые краски для характеристики нашего поведения и для предсказания нашего печального будущего. В соседних дворах стояли неподвижные бабы, выли и лаяли собаки, прыгая на протянутых через дворы проволоках, и вертели головами хозяева, вычищая в конюшнях.

Мы выскочили на улицу, и Карабанов повалился на ближайший плетень.

– Ой, не можу, ий-богу, не можу! От гости так гости!.. Так як вона каже? Щоб вам животы попучило вид тией сметаны? Як у тебя с животом, Волохов?

В этот день мы уничтожили шесть самогонных аппаратов. С нашей стороны потерь не было. Только выходя из последней хаты, мы наткнулись на председателя сельсовета Сергея Петровича Гречаного. Председатель был похож на казака Мамая: примасленная черная голова и тонкие усы, закрученные колечками. Несмотря на свою молодость, он был самым исправным хозяином в округе и считался очень разумным человеком. Председатель крикнул нам еще издали:

– А ну, постойте!

Постояли.

– Драствуйте, с праздником… А как же это так, разрешите полюбопытствовать, на каком мандате основано такое самовольное втручение[10], что разбиваете у людей аппараты, на которые вы права не имеете?

[10] Вмешательство.

Он еще больше закрутил усы и пытливо рассматривал наши незаконные физиономии.

Я молча протянул ему мандат на «самовольное втручение». Он долго вертел его в руках и недовольно возразил мне:

– Это, конечно, разрешение, но только и люди обижаются. Если так будет делать какая-то колония, тогда совецкой власти будет нельзя сказать, чтобы благополучно могло кончиться. Я и сам борюсь с самогоногонением.

– И у вас же аппарат есть, – сказал тихо Таранец, разрешив своим всевидящим гляделкам бесцеремонно исследовать председательское лицо.

Председатель свирепо глянул на оборванного Таранца:

– Ты! Твое дело – сторона. Ты кто такой? Колоньский? Мы это дело доведем до самого верху, и тогда окажется, почему председателя власти на местах без всяких препятствий можно оскорблять разным проступникам.

Мы разошлись в разные стороны.

Наша экспедиция принесла большую пользу. На другой день возле кузницы Задоров говорил нашим клиентам:

– В следующее воскресенье мы еще не так сделаем: вся колония – пятьдесят человек – пойдет.

Селяне кивали бородами и соглашались:

– Та оно, конешно, что правильно. Потому же и хлеб расходуется, и, раз запрещено, так оно правильно.

Пьянство в колонии прекратилось, но появилась новая бе-

да – картежная игра. Мы стали замечать, что в столовой тот или иной колонист обедает без хлеба, уборка или какая-нибудь другая из неприятных работ совершается не тем, кому следует.

– Почему сегодня ты убираешь, а не Иванов?

– Он меня попросил.

Работа по просьбе становилась бытовым явлением, и уже сложились определенные группы таких «просителей». Стало увеличиваться число колонистов, уклоняющихся от пищи, уступающих свои порции товарищам.

В детской колонии не может быть большего несчастья, чем картежная игра. Она выводит колониста из общей сферы потребления и заставляет его добывать дополнительные средства, а единственным путем для этого является воровство. Я поспешил броситься в атаку на этого нового врага.

Из колонии убежал Овчаренко, веселый и энергичный мальчик, уже успевший сжиться с колонией. Мои расспросы, почему убежал, ни к чему не привели. На второй день я встретил его в городе на толкучке, но, как его ни уговаривал, он отказался возвратиться в колонию. Беседовал он со мной в полном смятении.

Карточный долг в кругу наших воспитанников считался долгом чести. Отказ от выплаты этого долга мог привести не только к избиению и другим способам насилия, но и к общему презрению.

Возвратившись в колонию, я вечером пристал к ребятам:

– Почему убежал Овчаренко?

– Откуда ж нам знать?

– Вы знаете.

Молчание.

В ту же ночь, вызвав на помощь Калину Ивановича, я произвел общий обыск. Результаты меня поразили: под подушками, в сундучках, в коробках, в карманах у некоторых колонистов нашлись целые склады сахару. Самым богатым оказался Бурун: у него в сундуке, который он с моего разрешения сам сделал в столярной мастерской, нашлось более тридцати фунтов. Но интереснее всего была находка у Митягина. Под подушкой, в старой барашковой шапке, у него было спрятано на пятьдесят рублей медных и серебряных денег.

Бурун чистосердечно и с убитым видом признался:

– В карты выиграл.

– У колонистов?

– Угу!

Митягин ответил:

– Не скажу.

Главные склады сахару, каких-то чужих вещей, кофточек, платков, сумочек хранились в комнате, в которой жили три наши девочки: Оля, Раиса и Маруся. Девочки отказались сообщить, кому принадлежат запасы. Оля и Маруся плакали, Раиса отмалчивалась.

Девушек в колонии было три. Все они были присланы комиссией за воровство в квартирах. Одна из них, Оля Воро-

нова, вероятно, попала случайно в неприятную историю – такие случайности часто бывают у малолетних прислуг. Маруся Левченко и Раиса Соколова были очень развязны и распущенны, ругались и участвовали в пьянстве ребят и в картежной игре, которая главным образом и происходила в их комнате. Маруся отличалась невыносимо истеричным характером, часто оскорбляла и даже била своих подруг по колонии, с хлопцами тоже всегда была в ссоре по всяким вздорным поводам, считала себя «пропащим» человеком и на всякое замечание и совет отзывалась однообразно:

– Чего вы стараетесь? Я – человек конченый.

Раиса была очень толста, неряшлива и смешлива, но далеко не глупа и сравнительно образованна. Она когда-то была в гимназии, и наши воспитательницы уговаривали ее готовиться на рабфак. Отец ее был сапожником в нашем городе, года два назад его зарезали в пьяной компании, мать пила и нищенствовала. Раиса утверждала, что это не ее мать, что ее в детстве подбросили к Соколовым, но хлопцы уверяли, что Раиса фантазирует:

– Она скоро скажет, что ее папаша принц был[11].

Раиса и Маруся держали себя независимо по отношению к мальчикам и пользовались с их стороны некоторым уважением как старые и опытные «блатнячки». Именно поэтому

[11] Далее в «Год 17-й», альманах 3, 1933, с. 113, следует: «Мать Раисы как-то пришла в колонию, узнала, что дочка отказывается от дочерних чувств, и напала на Раису со всей страстью пьяной бабы. Ребята насилу выставили ее».

им были доверены важные детали темных операций Митягина и других.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.